

БАСНИ ИВАНА ХЕМНИЦЕРА

В трех книгах. Москва, 1837. С портретом автора.

Занимательно, а иногда и очень полезно разбирать старое, когда оно обновляется посредством изданий, и особливо рассматривать предметы, которые многим казались уже давно решенными и о которых, как полагают, нельзя сказать ничего нового. Но давно уже один философ написал: «Нет ничего нового под солнцем», а другой к тому прибавил слова: «кроме того, что было забыто». Как угодно положите, что род человеческий совершает свое течение спиралью, бесконечным винтом или что бытие каждого народа образует полное кольцо, из чего составляется цепь всемирной истории, но тождество, каждый раз в новом виде, есть великий закон нашей природы. История народов есть только разнообразное проявление одинаких явлений. Ничего нет забавнее теоретиков, которые сводят умствование человеческое в чернилицу какого-нибудь Шеллинга или Гегеля, находя хаос человечества на Востоке, младенчество в Греции, юность в Риме, лета буйных страстей в средних веках и умную старость в нынешней Европе, которой головою полагают Германию. Напротив, все повторяется на свете. Следовательно, разбор старого — урок новому. Но и это предисловие не нужно для оправдания намерения нашего рассмотреть жизнь и сочинения Хемницера.

Критический взгляд на прошедшее в русской словесности имеет для нас особенный интерес. Любопытно следить шаги, взвешивать усилия, переоценивать, относительно к своему времени, прежние подвиги такой словесности, которая давно уже начинается, но еще не установила своих законов, не воздвигла себе непоколебимых памятников

и даже не узнала всех основных стихий, из которых она будет составлена. Такова наша словесность. Здесь каждый новый взгляд, каждая новая критическая работа может быть заслугою. Если не станем перебирать прежнего, каким же образом выведем положения для настоящего? как узнаем меру этого настоящего и где найдем точки сравнения при определении наших успехов? Конечно, наши предшественники судили, решали, распределяли славы, жаловали в бессмертие, осуждали и обрекали забвению. Но предшественники были люди; у них были страсти и личные отношения к людям, которых они миловали или карали. Сии страсти, сии личные отношения для нас уже не существуют, и чем более мы от них удаляемся в порядке времени, тем основательнее можем надеяться, что становимся беспристрастнее не только первых судей, но и последовавших за ними переценщиков, можем видеть предметы несколько лучше их и определять меру вернее. Во всяком случае, пусть только мнения наши будут скромны, добросовестны, основаны на той логике, которая нам кажется ближайшею к здравому осуждению; в них всегда найдется участок пользы, а все общие пользы состоят из участков.

Дело, говорят, известное: Хемницер писал басни. Сумароков начал их у нас писать и писал плохо. Дмитриев стал писать хорошо и ввел их в светское общество — именно такое выражение мы где-то читали, — а Крылов довел их наконец до совершенства. Все другие, кто ни писал у нас басни, кроме Крылова и Дмитриева, далеко не сравнились с ними.

Хорошо, но и Хемницер писал басни: куда же надобно нам отнести Хемницера, который явился между Сумароковым и Дмитриевым? Должно ли его уничтожить наряду с Сумароковым, о котором и спора нет, что он был плохой баснописец, или отнести его к разряду тех, которые имели в свое время относительное достоинство, но теперь справедливо забыты после блестящих заслуг Дмитриева и Крылова?

А если мы скажем, что Хемницер, к стыду нашему, не оценен донныне надлежащим образом; что это был проблеск дарования необыкновенного, которое, к несчастью,

284

не успело развиться вполне; что Хемницера, по таланту, должно поставить рядом с Дмитриевым и Крыловым и причислить к разряду немногих, прекрасных и утешительных явлений в нашей словесности? Многие, вероятно, удивятся такому дерзновению. Но мы действительно такого мнения, при всем должном и глубоком уважении к произведениям двух наших знаменитых баснописцев. Здесь должно предварительно войти в некоторые общие подробности о теории басни.

Аполог вообще, и, разделяя его на басню и сказку, выражается буквально нашим словом: «иносказание». Это небольшое произведение воображения, маленькая поэма, где внутренний смысл различен с тем, который представляет наружность. В сказке аполог — повествование о каком-нибудь вымышленном происшествии, маленькая фантастическая драма, где действующие лица люди. Но в басне аполог идет далее: его драма разыгрывается актерами, взятыми из всей природы,

в том числе и человеком, но с тем условием, чтобы все чувствовали, действовали, говорили и рассуждали, как человек, и наряду с ним не выходя, если они скоты, из своего звания.

Было поверье, когда все утверждали, что трагедия происходит от козла, будто какой-то мудрый невольник изобрел аполог для поучения своего господина. На этом основании апологу было предписано «поучать людей», говоря им иносказательно истины, которых они не выслушали бы, не рассердившись, если бы сказать эти истины прямо. Прежде всему назначалась своя неуклонная должность. Аполог также имел свои неизменные правила, для характеров действующих лиц, для рассказа, для способа «выводить нравоучение». О происхождении его от мудрого невольника никто не смел спорить, и через целую династию мудрых невольников проходила его история. Локман и Эзоп были его родоначальники.

В наше время люди сделались прихотливее, или своевольнее, перестали верить прежним неизменным границам каждого рода произведений воображения, и поставили между баснями начало басни и ее прежние правила.

Что же такое аполог по нынешним понятиям?

Особенный род произведений словесности, не положительных, а отрицательных. Такое разделение словесности, по мнению нашему, необходимо. Прямая,

чистая поэзия есть та, где, собственно, нет никакой цели, кроме проявления произвольной идеи, кроме создания чего-нибудь прекрасного: это ода, драма, эпопея. Разумеется, и тут есть род цели или, правильнее, намерение. Изображая великое событие, выводя сильный характер, осуществляя музыкою слова отдельную идею, поэт «поучает» людей, но поучает как судьба, как природа, не принимая на себя звания учителя и наставника. Не такова отрицательная поэзия, которую можно назвать вообще дидактическою. Здесь у поэта есть уже определенная цель, и сюда относятся дидактическая поэма, сатира и аполог. Здесь вдохновение не свободно; уроки в полезном, порывы добродетельного гнева, советы посредством иносказаний бывают музами поэтов.

Не невольник и не Восток изобрели аполог. Пора бросить это неверное слово: «изобрел». Никто и ничего вдруг не изобретает. Мысль каждого предмета таится и проявляется в разных видах задолго до того, кому дают имя его изобретателя. Так и аполог изобретен вообще человеком и изобретен везде. У самых грубых дикарей находим начала аполога, и неоспоримо, что чем грубее и необразованнее язык, тем более в нем метафор, аллегорий, иносказаний. Что мы говорим ныне положительною и самою определенной прозой, то высказывалось прежде символически и стихотворными аллегориями. Метафора совсем не высшая степень мудрости, а усилие ума неразвитого и языка не вышедшего из детства.

Быть может, что на Востоке получил аполог определенную форму и известное назначение. Облекая все в символы, Восток выдумал и для аполога таинственное лицо мудреца, поучающего великих мира иносказаниями. Мы не станем входить здесь в спор о начале разных собраний

басен, которых сочинение приписывают различным мудрецам: Пильпаю, Бидпаю, или Бейдебаю, Локману, Езопу, и другим. Дело в том, что древнейшие собрания басен, каковы Езопа, Локмана, Калиле и Демене, Панчататра¹ и так далее, суть произведения бесконечной переделки, неоднократной литературной переборки иносказаний

286

простонародных, которыми изобилуют языки восточных народов. Самая грубая форма их является в баснях Локмана и византийском собрании басен Езопа; самая искусственная в Калиле и Демене или баснях Пильпая. Те, кто в состоянии читать их по-арабски, уверяют, что нельзя ничего найти забавнее, остроумнее и даже любопытнее в отношении к познанию нравственных понятий Востока. К сожалению, ни на одном из европейских языков нет хорошего перевода Калиле и Демене, потому что для такого перевода нужно не только в совершенстве знать арабский язык, но и основательно понимать Восток во всех его подробностях. Не будем здесь изыскивать, когда и каким образом апологи перешли в Грецию и Рим. Но при имени Рима каждый вспомнит знаменитое имя Федр. Отсюда переход их к новейшим поэтам. Наконец во Франции взялся за аполог Лафонтен². «Сказать — басня, — говорит Лагарп, — значит сказать Лафонтен; род сочинения и сочинитель составляют здесь одно. Езоп, Федр, Пильпай, Авиен создавали басни; Лафонтен берет их все, и они уже не Езоповы, не Федровы, не Пильпаевы, не Авиеновы: они Лафонтеновы басни». За прекрасным поэтическим развитием аполога в руках Лафонтена последовала и смерть его: он попался в немилосердные руки

систематиков; ему велели быть классическим; его сковали, бедного; ему предписали правила житья, одежды, походки, слов. Далее вы видите уже классические подражания англичан, немцев, испанцев, итальянцев, русских и должны проститься с самобытным апологом! В силу устава ложного классицизма прекрасно станут писать басню Ламотты, Флорианы, Геллерты, Сумароковы, и она умрет сухоткою, затянутая в корсет, как умерла французская трагедия, как от классической натуги лопнула ода и от торжественного восклицания «пою» охрипла эпопея.

Однако ж ум и поэзия живущи; человек смышлен: после каждого припадка душевной летаргии он умеет оживать в новых идеях и с свежим возрождением. Мы отвергли ложную теорию аполога. Не скажем, чтобы и Лафонтен был самым высоким идеалом басни.

Как не замечали мнимые классики нелепости истории о начале аполога? И как не видели они того, что, подобно всем другим родам стихотворений, аполог всюду являлся

287

разнообразным? Или что тем более удалялся он от своего отрицательного назначения «поучать», чем более входил он в свободную область поэзии положительной, тем становился выше, живее, прелестнее, достойнее искусства?

Не веря в смерть того или другого рода поэзии в наше время, мы не верим также, чтобы аполог умер для нас. Умерла для нас мнимая классическая форма его, но аполог жив, как жива трагедия в драме, которую назовем хоть романтическойю.

Аполог как иносказание, как шутка, как сатирический намек, как маленькая фантастическая драма и теперь существует. Пусть только он не тянется в нравоучители: мы выросли уже из ребят и можем сказать каждому баснописцу–нравоучителю: «Соловья *баснями* не кормят». Скажите нам апологом какую угодно истину; пусть он имеет нравственную роль, только не говорите нам, что в нас, учите нас, как школьников, и прикройте истину поэзией рассказа. Вот первая тайна нынешнего аполога. Он всегда будет составлять одну из отраслей искусства. Но бросьте условные формы, бросьте уже и потому, что они надоели в тысячах повторений. Что нам за дело, если, вопреки классическому кодексу, вы так или иначе выставляете характеры зверей ваших, если у вас нарушаются законы произвольных условий? Когда мы верим, что у вас говорят рыбы, то мы можем поверить и более: пусть только аллегория ваша будет остроумна и верна сама по себе — и дело кончено! Еще менее нам заботы, что вы смешиваете басню с сказкой; что вы ставите вывод наперед, назади или совсем его не ставите; что вы приводите описания, разговоры, подробности или сжимаете рассказ в несколько слов? Требуем одного: будьте поэтом в вашем апологе, и — Бог с вами! Мы готовы слушать, смеяться — учиться у вас, если угодно.

Наконец, последнее условие: будьте современны, будьте *народны*, умеете постигнуть характер вашего народа и дух вашего времени. Народность и современность одни из самых необходимых условий жизни аполога.

Именно в этом заключалась тайна успеха одних и неудачи других баснописцев. Эту тайну превосходно постиг Лафонтен. Именно смешно теперь читать, как классики

вытягивали басни его на своем прокрустовом ложе, искали в них неизменных правил, кое–как прилагали своевольную лафонтеновскую басню к своим условиям. Еще забавнее, как видели они в Лафонтене нравоучителя и словом *добряк*, *bon homme*, прикрывали его проказы, ища нравственных уроков в его баснях и в его не нравоучительной жизни. Здесь, кстати, можно бы сказать много любопытного и о характере Лафонтена и сущности его басни, но мы боимся, что и без того далеко отошли от предмета. Удовольствуемся немногими словами.

Если бы надобно было изобразить характер, всего более способный к апологу, то довольно верно можно изобразить его, сказавши, что баснописцем не может быть ни мудрец, ни философ, ни поэт, ни красноречивый говорун и что между тем все эти качества должны соединяться в баснописце. Есть на свете такие характеры, и они обыкновенно отличаются оригинальностью и беспечностью. Их почтете то плутами и шалунами, то философами и поэтами. В беседе они то дополнение ума других, то великие мыслители. Баснописец — поэт, но в нем не должно быть страсти и необузданного восторга поэтического: он всегда «себе на уме». Он философ, но ему неприлично быть систематическим философом: от этого «ум может зайти за разум». Если такой характер случится у литератора, пусть он примется за апологи: аполог его стихия. Тогда все увидят, что он поэт, что он умен, что он мудрец. Тогда он угадал свое назначение, и апологу он придаст свою беспечность и оригинальность. Точно таков был Лафонтен: он стал писать басни, превосходно угадал свое назначение и создал настоящую форму аполога для своей страны и своего времени.

Человек с душою поэтической, но неодаренный высшею творческою силою, мудрец, которого физическое сложение и обстоятельства не допустили быть философом, Лафонтен мог сделаться шутом в его время — к сожалению, этого занятия уже не было — или французским баснописцем. Он сделался баснописцем. Тут он мог удовлетворять неясное поэтическое стремление души своей после тщетных покушений на другие роды поэзии. Не верьте, будто Лафонтен был простака, и не думайте, чтобы он был плут, который прикидывался простаком. Характер его составили обстоятельства; он только отыскал свое место в литературе, и это очень хорошо поясняет характер Лафонтена и его творений.

289

Когда потом своевольные, прихотливые, самобытные басни доставили ему бесспорное отличие между современными поэтами, когда его приняли в общество свое Буало, Расин и Мольер, он презабавно хотел уверить других, что действительно басни его были плод его предварительного учения, размышления, приложения классических правил. Прикидывался он или в самом деле верил тому, но, к счастью, действовал иначе на практике. Басня его была собственная, лафонтеновская. Уча других мудрости, он шалил до старости. Уверяя, что изучает теорию басни в пиитиках, он творил ее по своей поэтической фантазии. Классики иногда замечали хитрость, и они очень рассердились на него, когда он выдал свои последние басни, где дарование «добряка» развилось в полной мере. Что было делать Лафонтену? Он уверял своих друзей, что он читает, учится:

**Terence est dans mes mains, je m'instruit dans Horace,
Homère et son rival sont mes dieux du Parnasse*.**

Он говорил, что ему ужасно трудно *fabriquer à force de temps*** свои прелестные стихи. Надобно было подлаживать строгому Буало и сладостному Расину, угождать герцогам и герцогиням, попасть в академию. И вот Лафонтен — классик! Людовик XIV говорит об нем академиком: «*Vous pouvez recevoir la Fontaine, il a promis d'être sage*»***. И президент академии встречает его речью, где вешает ему: «Академия признает в вас, милостивый государь, одного из тех превосходных тружеников, одного из тех достойных строителей храма славы, которые помогают ей в трудах, предпринятых для украшения Франции и продолжения памяти о царствовании, столь обильном чудесами, признает в вас гения легкого и свободного, исполненного нежности и добродушия, видит нечто оригинальное, заключающее в себе, при наружной простоте и беспечном виде, великие сокровища и великие красоты».

Но теперь уже и французские критики смеются тому, что некогда в Мольере и Лафонтене непременно хотели видеть классиков. Теперь уже и они видят, в чем состояли заслуги Лафонтена и сущность его дарований: он был поэтом

290

в апологе; он дал апологу самобытное развитие, *сообразное с характером его народа и его века.*

* Теренций в моих руках, я учусь у Горация, Гомер и его соперник — мои парнасские боги (фр.).

** Сочинять отвечающие, духу времени (фр.).

*** Вы можете принимать Лафонтена, он обещал хорошо себя вести (фр.).

Пределы статьи не дают нам возможности высказать мысль нашу понятнее, и мы поясним дело близким к нам примером, обращаясь к почтенному старцу, бесспорно признанному первым нашим баснописцем уже от двух поколений, к человеку, которого дарованиям изумлялся Пушкин, к поэту, которого сочинения расходятся по России десятками тысяч экземпляров и составляют утеху детства, наслаждение всех, пример для современников, предмет размышления для критики. Если бы можно было говорить о самом поэте, пока он еще украшает литературу своими баснями и своим присутствием — и дай Бог, чтобы это продолжилось, — то мы сказали бы, что Крылов представляет разительное личное сходство с Лафонтеном. Философ, светский человек, поэт, он рожден быть баснописцем. Как Лафонтен, он уже в зрелых годах постиг свое назначение и почувствовал, что может высказать себя только апологом, хотя прежде писал комедии, издавал журналы и долго занимался литературою. Он начал свой аполог робко, классически. Его встретили и судили классически; сравнивали с Лафонтеном, с Дмитриевым. Крылов молчал, обдумывал свой аполог, и судьи совсем не заметили, как он развил его оригинально и своенравно, как создал из него свой аполог, аполог Крылова. Всего забавнее, что Крылов был допущен в собор наших классиков как классик, а потом между нашими романтиками считался романтиком. Что же это за странность? Классик он или романтик? Нет, он Крылов. В обществе Высокой Покровительницы наук, в ученых сословиях, в первом ряду наших писателей — он везде остался прежним Крыловым. Теперь в нем видят отличного поэта, указывают на него как на искусного переводчика Лафонтена и воздают ему громкие похвалы за изобретение предметов басен, за нравственность выводов, за верность вымысла, за удивительную точность языка.

Действительно, все сии достоинства находятся в Крылове, но только до известной степени, которая едва ли доставила бы ему бессмертие, если бы оно раздавалось за подобные заслуги.

Аполог Крылова не выдержит разбора, если судить его по уставу старого Буало. Перевод его из Лафонтена мы не смеем сравнивать с переводами Дмитриева. Изобретение предмета для басни не требует большой мудрости; мы думаем, что каждый умный человек в одни сутки может выдумать дюжины две сюжетов для басни, самых остроумных.

291

Нравственность выводов в баснях не может быть принята как доказательство высокого таланта; для этого достаточно быть умным человеком. Притом же Крылов весьма часто и не думает учить нас нравственности; он только наблюдает, делает отметки для себя и не заботится о духовной пользе своего читателя. Мы не видим никакого нравственного урока в следующих, например, выводах:

Что сходит с рук вора́м, за то воришек бьют.

—

**...Как бывает жить ни тошно,
А умирать еще тошней.**

—

**Чуть о помощи на деле заикнешься,
То лучший друг
И нем и глух!**

—

**Вору дай хоть миллион,
Он воровать не перестанет.**

—

**Охотно мы дарим,
Что нам не надобно самим.**

—

**На младших не найдешь себе управы там,
Где делятся они со старшим пополам³.**

—

Верность в вымысле, во многих своих баснях, он не соблюдает. Щука идет у него ловить мышей с котом; медведь хочет торговать дугами — предмет, очень остроумно заимствованный из русской поговорки, но если дело коснется до верности, то вовсе неверный; волки собирают дань с овец тулупами; лев наказывает лисицу за то, что она жарит себе рыбу; паук завидует купцу и решается торговать паутиной. Все это, и десятки других басен, обнаруживает совершенное презрение к условиям верности вымысла. Нередко найдем мы и неверность в рассказе. Что касается до удивительной точности языка, то почтенный Иван Андреевич не всегда согласен с грамматическою

братию и порой ставит ей такие загадки, которых она разгадать не может:

Журавль свой нос по шею

**Засунул волку в пасть и с трудностью большою
Кость вытащил.**

**Две были девушки, служанки, коих часть
Была, с утра и до глубокой ночи,
Рук не покладывая прясть.**

Как редки таковы друзья.

Лишь время не терять умей.

И наконец я стала мать.

**Иного так же мы боимся,
Поколь к чему не приглядимся...⁴**

и прочее. Скорее следовало бы сказать вместо удивительная точность языка — удивительная обработка стиха. Крылов, как многие великие поэты, обрабатывает и гладит свои стихи долго, тщательно, мучительно. Отделка их превосходна, но это отделка гранитных колонн, которые полированы, блестят, однако ж не легки и не везде без царапин.

Но в чем же прелесть, достоинство и заслуги Крылова? В том, что он в отношении к России то же, что Лафонтен в отношении Франции. Он первый создал *русский* аполог, первый умел «повести побасенку» на русский лад, русским словом, русским умом, русским говором, сделал его для нас

родным, как русская песня. Заговорит Крылов — мы видим умного русака, который все смекнул, все знает, только иного не хочет сказать и вместо с ответа значительно почесывает голову. «Да это наш!» — восклицаем мы издали, увидев такого человека. В каждом своем движении, в каждом слове, в каждой ухватке, в шутке и в глубокомысленном

293

замечании он русский человек с головы до ног, говорит ли сказочку о щуке, которая ловит мышей, представляет ли дурака Тришку с обрезанными полами, собирает ли едоков хлебать уху, когда синица зажигает море, заставляет ли приятеля бриться тупыми бритвами. Сотни стихов Крылова пошли в поговорки и пословицы — так они русски, так вылиты и отделаны на русский образец!

А ларчик просто открывался!

—

А только кинь им кость, так что твои собаки!

—

Полают да отстанут!

—

Пушок на рыльце есть!

—

Еще тарелочку!..

—

**Ай, моська! знать, она сильна,
Что лает на слона!**

—

Да эта крыса мне кума!

—

Васька слушает да ест!

—

**А философ —
Без огурцов.**

—

Да чтоб гусей не дразнить!

—

**Да плакать мне какая статья:
Ведь я не вашего прихода?**

294

**Ну, братец, виноват!
Слона—то я и не приметил!**

—

**Про взятки Климычу читают,
А он украдкою кивает на Петра⁵.**

Здесь объясняется то преимущество, какое Крылов бесспорно имеет в нашем убеждении перед всеми предшественниками и последователями. Он был естественно умен, а они умничали; он одевался в басню,

чтобы сказать свое, а они думали, что в форме басни вся задача; он самобытен — они подражатели; он шутит от души — они хотели острить. Измайлов думал перебить у него дорогу тем, что надел мужицкий зипун и плясал трепака, но над этим мимоходом посмеялись и тотчас забыли. Другую противоположность составляет почтенный ветеран наш И. И. Дмитриев, который также обнаружил в басне необыкновенное дарование. В то время, когда Карамзин предпринял преобразование нашей прозы, Дмитриев оказал важную услугу реформе наших стихов. Но поэзия не была у Дмитриева главным занятием ни как искусство, ни как непреодолимое вдохновение. Это досуги умного человека, который с равною легкостью пишет оду, песню, эпиграмму, сцены комедии, сказку. Потому Дмитриев более переводил. Аполог служил ему средством слегка шутить, поостриться; в нем не весь Дмитриев, не весь поэт. Он только шутит и доволен, если читатель его улыбнулся. Но как переводчик Лафонтена, Дмитриев может почестся образцовым, хоть сам сказал:

Как месяц не светит, а все не солнца свет!

Замечательное обстоятельство. То самое, что делает Крылова единственным и неподражаемым в подлиннике, служит ко вреду его в переводе на всякий не русский язык. Как бы хорошо ни переводили Крылова, все его красоты исчезают вместе с национальным костюмом. Опыт доказал это. Крылов великолепно был представлен французам графом Орловым⁶ и верно передан потом господином Маскле, но не произвел сильного впечатления. Самый умеренный суд французских критиков был не в пользу его. Этим окончательно поясняется высокое достоинство нашего Лафонтена.

После того, что мы сказали о Крылове, нас, конечно, не упрекнут в желании унижить его превосходный талант, если мы скажем, что был на Руси человек, также мудрец

295

и поэт, забытый всеми, неоцененный, который может почестся достойным соперником Крылова и быть смело поставлен наряду с ним, хотя он предшественник его. Этот человек был Хемницер. Но он родился во время самого тяжкого классицизма и не мог быть понят современниками; неловкий, странный, бедный, он умер в одиночестве, на чужой стороне, не знал славы при жизни, не знал ее по смерти и не постигал, может быть, даже своего высокого литературного значения.

Иван Иванович Хемницер не был русский по рождению. Отец его выехал из Саксонии, служил в России около пятидесяти лет, отличался честностью и умер бедным в должности госпитального надзирателя. Хемницер, наш баснописец, родился в 1744 году. Надобно было искать хлеба; отец назначал его в лекаря, но сын не мог преодолеть своего отвращения к анатомии, и его записали в военную службу по четырнадцатому году. Он служил двенадцать лет, бывал в походах и в 1769 году вышел в отставку поручиком. Куда деваться? Образованный отлично, он принят был чиновником в Горный кадетский корпус, и здесь пребывал на службе еще лет двенадцать.

Тихий, скромный, застенчивый, рассеянный, настоящее дитя, Хемницер не мог быть деловым человеком и успеть по службе. Ум его был оригинальный, но не блестящий; познания были необыкновенны, но он не умел их выказывать. Только немногие друзья понимали Хемницера и дорожили его умом и вкусом, но и те не могли удержаться

от шутки, видя его простоту. В 1776 году один из его покровителей взял его в чужие края⁷. Хемницер объехал Францию, Голландию, Германию и возвратился прежним кротким, простодушным Хемницером. В 1781–м покровитель его оставил службу, и Хемницер должен был последовать его примеру. Он вышел в отставку коллежским советником и бедняком, имея на руках старушку мать. Скоро потом ему предложили место консула в Смирне. Делать было нечего; с горестью отправился бедный Хемницер на чужбину, в дальнюю турецкую сторону, страдал там около года и умер 20 марта 1784 года сорока лет от роду.

Вот все, что мы знаем о Хемницере, и еще несколько забавных анекдотов.

296

Этот немец знал, однако ж, русский язык, как коренной православный. Державин был его другом и слушался его советов. Российская Академия избрала его в члены при своем основании⁸. Но Хемницер не смел писать по–русски. В тишине своего уединения, может быть, чувствуя иногда свое достоинство, он только изредка решался изливать свои остроумные заметки на бумагу, испытывать свое необыкновенное поэтическое дарование, и все это облекал он в простую форму аполога. В 1778 году друзья, которым он прочитывал свои басни, уговорили его напечатать их, но Хемницер не осмелился объявить своего имени и издал книгу под именем N. N. В 1781–м, собираясь в Смирну, к изданным прежде двадцати семи басням он прибавил еще тридцать четыре. Через пятнадцать лет по смерти автора кто–то из друзей его собрал еще в бумагах Хемницера

двадцать пять басен и издал их, с предисловием, в 1799 году. Предисловие было написано с чувством и умно; в нем сохранились и биографические сведения о Хемницере⁹. К несчастью, вот что говорит сочинитель: «Более распространяться о нем повестью скромность дружеству не позволяет, опасаясь, чтобы приятное ему воспоминание не показалось читателям скучным и внимания их недостойным». Далее: «О достоинстве вообще сих басен и сказок, в сравнении с сочинениями такого же рода, нет нужды говорить, ибо перо, дружеством водимое, может показаться пристрастным, и читатели одни только имеют право судить о цене и преимуществе словесных творений». С такою-то робостью самые друзья Хемницера передавали творения его тогдашней публике. А читатели тогдашние, что они сказали «о цене и преимуществе сих словесных творений»? Кажется, *сии творения* промелькнули незаметно. Судьба, столь немилосердная к поэту, была безжалостна и к плодам его пера. Когда басни Хемницера явились безыменно в 1778 году, могла ли эта тоненькая тетрадка устоять перед громкою славою и толстою книжцею притчей Сумарокова? Спустя двадцать лет бедняжка явилась опять: новое столкновение случайностей! Реформа карамзинская увлекала всех. Дмитриев восхищал в басне своим изящным остроумием и вкусом. Через десять лет потом явился Крылов.

Мы не скажем, чтобы Хемницер был вовсе забыт в нашей словесности: в течение сорока лет несколько раз печатали его басни, приводили из них примеры в наших

учебных книгах и помещали некоторые в наших *образцовых* сочинениях. Но достаточно ли этого? Пользуется ли бедный Хемницер всею заслуженною славою? Показало ль чье-нибудь искусное перо его великие достоинства? Нет!

А между тем, мы говорим по совести, Хемницер был одним из превосходнейших наших поэтов и достоин стать наряду с Крыловым. Его басни должны быть такою же народною книгою, как басни Крылова. Они могут выдержать суд самый строгий, особливо если сообразим, что Хемницер принадлежал еще ко временам ломоносовским.

Всех басен его дошло до нас восемьдесят шесть. Некоторые переведены им из Лафонтена и Геллерта, но большая часть их оригинальные. Мы уже сказали, что искусство изобретать предметы для басен кажется нам преимуществом очень посредственным в баснописце. Гораздо важнее то, что уже в семидесятых годах Хемницер постиг тайну настоящего перевода апологов. Читая его «Зеленого осла», его «Медведя–плясуна»¹⁰, не верится, чтобы это был перевод, и перевод, которому пятьдесят лет! Вообще нельзя не удивляться языку и легкости стихов Хемницера, живости его разговора, искусству его в описаниях. Весьма многие басни с начала до конца выдержаны изумительно мастерски. Прочтите «Два соседа», «Лжец», «Медведь–плясун», «Орлы», «Богач и бедняк», «Львиный совет», «Хитрец», «Домовой», «Зеленый осел», «Воля и неволя», «Лисица и сорока», «Лев», «Покор львиный», «Привилегия», «Метафизик», «Мартышка».

Какой–то в Лондоне хитрец один сыскался,
Который публике в листочках обещался,
Что в узенький кувшин он весь,

Каков он есть,
С руками
И с ногами,
В такой–то день намерен влезть.
Причем кувшину он рисунок прилагает,
Почтенных зрителей покорно приглашает
За вход по стольку–то платить:
Начало ровно в шесть часов имеет быть.
Пошли по городу листы. «Ба! что такое?
В кувшин залезть? Что он, с ума сошел? Пустое!
Где это слыхано! Да и дурак поймет,
Что способу тут нет,

298

Хоть как ни стал бы он ломаться...
Однако, чтобы посмеяться,
Поедем поглядим, что это за чудак!¹¹

Лев учредил совет, какой–то неизвестно,
И, посадя в него сочленами слонов,
Прибавил больше к ним ослов.
Хотя слонам сидеть с ослами и невместно,
Но лев не мог того числа слонов набрать,
Какому надлежало
В совете заседать.
Ну что ж, пускай числа всего бы не достало!
Ведь это б не мешало
Дела производить?
Нет! Как же! А устав ужли переступить?
Хоть будь ослы судьи, лишь счетом бы их стало¹².

Читая эти два примера, кто не изумится прелести и простоте стиха и рассказа? Рассказ о битве свиньи («Два соседа»), о приеме бедняка и богача в гостях («Богач и бедняк»), о чтении трагедии поэтом и испуге домового («Домовой»), о давке народа вокруг зеленого осла, разговор волка, когда он замечает, что у собаки сошла с шеи шерсть от цепи («Волк и неволя»); сорока, доказывающая лисице, что хвост ее пятая нога; лев, сватающий свою любовницу за осла; масло, которое катают в лапах сборщики львиные; метафизик, рассуждающий в яме, что за орудие такое веревка, на которой хотят его вытащить, — все это не уступит лучшим местам из басен Крылова. Но Хемницер превосходит даже самого Крылова в том злом простодушии, в той зацепке мимоходом, которую он бросает так легко, нечаянно, добродушно, что невозможно не подивиться чудному искусству поэта. Примеры этого находятся почти в каждой басне.

А устав ужли переступить?¹³

Орлы составляют общество избранных птиц и гонят от себя всех других. Поэт продолжает:

Прошло не знаю сколько лет,
Однако, помнится, немного...

Вот подают голос принять сокола. Орлы слушают его, Рассуждают:

«И впрямь, — орлы потом сказали. —
Его полет!..
А сверх того один сокол куда нейдет...»¹⁴

Шалуна записывают в солдаты. Поэт говорит:

**Хоть меж военными и всякие бывают,
Но палкою они жить многих научают.
А впрочем, нужды в этом нет,
Что столько ж иногда умен и тот, кто бьет,
Как те, которые побои принимают.
Однако шалуна и палка не берет!¹⁵**

Мужик едет с возом по льду и проваливается:

**Мужик метаться и кричать:
«Ой, батюшки, тону, тону! Ой, помогите!»
«Ребята! что же вы стоите?
Поможемте!» — один другому говорил,
Кто вместе с мужиком в одном обозе был.
«Поможем!» — каждый подтвердил,
Но к возу между тем никто не подходил.
А должно знать, что все одной деревни были,
Друзьями меж собою слыли,
Не раз за братское здоровье вместе пили,
А сверх того, между собой,
Для утверждения их дружбы круговой,
Крестами даже поменялись;
Друг друга братом всяк зовет —
А братний воз ко дну идет!¹⁶**

Воры попались, боятся казни и ищут стряпчего

**От смерти их избавить —
Ведь тяжело умирать, как есть кому чем жить!¹⁷**

Два богача начинают тяжбу и сыплют деньги судьям:

Без денег, как на торг, в суд не за чем ходить.

Тяжба тянется несколько лет. Отчего же?

**Ужли их судьи сговорились
Так долго дело волочить?
Вот тотчас клеветать, и на судей взносить,
И думать, что они из взяток согласились!..
Как будто бы нельзя другим причинам быть,
Что дело тихо шло!.. Ну как тут поспешить?
С год, говорят, об нем в одних архивах рылись¹⁸.**

Обезьяна обойдена при производстве. Она горько жалуется:

**И волка наградили!
Лисицу, через чин,
Судьею посадили
В курятнике судить!..
Случится же так кстати посадить!¹⁹**

300

Вот начало басни «Имение и ссора»:

**Невесть разбойники, невесть мурзы какие,
Да только люди непростые,
И двое их всего —
То есть вот этих только двое,
А то их всех число совсем другое.**

У льва была любовница —

**Ведь занимаются любовными делами,
Не только меж людьми, но также меж скотами...²⁰**

**Осла пригласили на львиную охоту, осел гордится, кричит,
шумит.**

**Как член суда иной, чуть в члены он попал,
Судейску важную осанку принимает,
Возносится и всех ни за что почитает
И что ни делает, и что ни говорит,
Всегда и всякому, что «член» он подтвердит;
И ежели кого другого не поймает,
Хотя на улице к ребятам рад пристать
И им, что «членом» он, сказать.
В письме к родным своим не может удержаться,
Чтоб «членом» каждый раз ему не подписаться,
И словом — весь он «член», и в доме от людей,
Все «член» по нем, до лошадей!²¹**

Начало сказки «Счастливое супружество»:

**Вот, говорят, примеров нет,
Чтоб муж в ладу с женою жили
И даже и по смерть друг друга бы любили.
Ой! здешний свет!
Привыкнув клеветать, чего уж не внесет!**

**Следует рассказ о счастливых супругах, рассказ
прелестный, который вдруг прерывается вопросом:**

**А сколько лет их веку было?..
Да сколько лет — с неделю и всего,**

**А без того
На сказку б походило.**

Никакого нравоучения тут не прибавлено. И на что оно? Уже и этих немногих примеров достаточно, чтобы оценить высокое, неподдельное дарование. И не должно ли удивляться, жалеть, негодовать на собственное наше равнодушие, что этот человек забыт нами, он, который так писал в семидесятых годах!

Решительно, басни Хемницера являют образец истинно народного русского аполога до Крылова. Это драгоценный

301

алмаз, заброшенный в пыли, но достойный сиять в венце русской словесности. Конечно, очень трудно победить предрассудок, но победим же его, отроем новый клад в родной земле, возьмем в руки эти драгоценные басни Хемницера и устыдимся непростительной холодности, с какою мы смотрели на них досель! До Крылова этот чудесный поэт уже превосходно постигал тайну русизмов. Мы видели это из приведенных отрывков. Рассмотрите, как хороши следующие. Строитель располагаетя строить дом и собирает материалы:

**И собрал уж немало.
Построить долго ли? *Лиха беда начало!*²²**

Муж спрашивает у Харона, куда он отвез жену его:

**«В рай или в ад?» — «В рай!» — «Можно ль статься!..
Меня ж куда везешь?» — «Туда ж, где и она».
«*Ой, нет! так в ад меня!*»²³**

Но мы не смеем умножать числа выписок. Хемницера можно упрекнуть только в одном: у него не было еще того полного русского разгула, той русской беззаботности, в которых так неподражаем Крылов. Хемницер иногда не смеет разговориться, может быть, чтобы не заговориться. На нем приметны местами следы оков классических. В языке своем он как будто хочет казаться человеком *comme il faut** — церемония, совсем лишняя в басне — и боится часто употреблять коренные русские речи, хотя сам так счастливо употребил слово *отнорок*, говоря о лисьей норе, или слово *беспрокий*, говоря о старом коне. Слух наш оскорбляется еще иногда словами, уже вышедшими из употребления, и изредка старинною манерою стиха. Но вспомните жизнь Хемницера, вспомните время, когда он жил, и то, что у него не было образцов! Крылов уже не мог не знать басен Хемницера.

Русский народ, кажется, отгадал наконец Хемницера, и если молчат судьи словесности, зато лучший критик басен — народ начинает ценить их по достоинству. Он уже усвоил их себе. Между тем как басен Крылова не могут довольно напечататься в великолепных и разнообразных изданиях, Хемницера также стали печатать беспрестанно, покамест для простонародья. В три последние года мы видели с полдюжины изданий его книги. К сожалению, все издания очень плохи, с ошибками,

на серой бумаге. Бедный Хемницер! Неужели не найдется никого между русскими книгопродавцами, кто бы порадел

* *комильфо* (фр.).

тени поэта изданием, достойным его высокого и удивительного таланта?